

Евгений Кулькин

МАНИЯ

Трилогия



Книга вторая

**МАФИЯ,
ИЛИ
КЛИКЛИВАЯ
ПУСТОТА**



Волгоград
2017

*Жизнь никогда не стоит на месте,
а всегда не переставая движется,
движется кругами, как будто
возвращающими все живущее,
через уничтожение, к прежнему
несуществованию.*

Лев Толстой

*История одной страны всегда
проходит на фоне мировой истории.*

Лев Гумилев

ПРОЛОГ

Говорят, перед рассветом начинается время одиночества и страха. Бездумно чувствующая разлад в себе женщина идет на казнение, ведь ей всего понятнее — боль, где мужчины вдруг обнаженно понимают, что не каждому дано пережить жуткий земной грех и впасть, как в Царствие небесное, в благородное бессмертие.

И именно в это время тревога быстрее гонит твою кровь. И рождается бесплодное мученичество, озаренное отсветом прошлого, когда оно еще было будущим. И душою искомый подвиг, застывший раз и навсегда остановившейся улыбкой лозунгов, так и остался в той недостижимости, которая уже не мерится ни годами, ни километрами.

Правда, иногда, в бреду прошлого, промелькнет метеорная подсвеченность революционного, рот раздирающего слова «Даешь!», и углохнет в той неостребованности, которая хоть и не исповедует конченности, но приводит именно к ней.

У России нет будущего, у нее есть только прошлое, длинное и суровое, непонятное в своей простоте, и вместе с тем величественное, как сфинкс, что-то однажды и на века окаменевшее, застывшее, взглыбившееся.

Кого жальче, когда душе жарче? Да опять же себя! Себя, сумевшего выйти сухим из воды, но бездарно сгоревшего в огне.

Вселенная устроена, чтобы манить, религия — чтобы пугать, а жизнь — чтобы страдать.

Если тебя унижает ощущение сопровождаемого по жизни комфорта, значит, ты способен понять загнанного в угол безумца, возмечтавшего однажды перестроить мир.

Зубр, освежаванный в Беловежской пуще, мерзло кожи которого в последний раз напомнило карту Советского Союза, навсегда останется

Кулькин, Евгений Александрович

К90 Мания [Текст]: трилогия. Т. 2. Мафия, или Кликтивная пустота. — Волгоград, Издатель, 2017. — 440 с.

© ГБУК «Издатель», оформление, 2017
© Кулькин Е. А., 2017

в памяти как образчик робкой доверчивости в свое время пережившей окаянность земле. И ежели его лик появится не только на этикетках горькой настойки, но и на хилых лбах политиков, как каинова печать, то можно не сомневаться, что они этого не только заслужили, но и добились.

Как-то в лесу я набрел на заброшенную железную дорогу. На изъеденные ржавью рельсы, на истружлявленные шпалы было больно смотреть. Они как бы вопили: «Мы пролегли в светлое будущее, почему вы нас оставили в темном прошлом?»

И ни рельсы, ни шпалы не в силах были понять, что ради того, что о них забыли, они не превратились в металлические испражнения и глухую древесную золу.

На даче у моего знакомого валяется памятник. Безымянный бюст какого-то знатного человека. По пьянке он напяливает на него шляпу и говорит: «Здравия желаю, господин президент!»

Но он — болван. Ему неизвестно, кого он изображает. Он просто изжога прошлого. И потому еще печет душу.

Знакомство с любым городом я начинаю с кладбища. И именно там понимаю, что стоят живые и почему им недосуг ни до меня, ни до того, чего они не могут понять и оценить немедленно.

В Беловежской пуще не случилось волчьей грызни. Зато там произошел великий распад, и смердение многие годы будет преследовать тех, кто этому был свидетелем и соучастником. Да что там их! Не оставит оно в покое и тех, кто родился после предсмертного вопля зубра. В с в о б о д н о е время.

Общее поглупение нации наступило именно после того, как она ощутила вкус свободы, привив к стволу этого интеллигентного понятия черенки разнузданности, вседозволенности и простого окаянства.

Есть ли у нас честь? Кажется, да. А совесть? Безусловно — нет. Она тоже осталась в прошлом, как пережиток.

Есть ли у нас смелость? Была. Особенно тогда, когда ранено кричал каждое слово, вырвавшись из застенков цензуры.

Но куда делись наши корифеи? В. Распутин сторел на им же сочиненном «Пожаре», В. Астафьев, как прилюдный свидетель, все еще пытался оживить своими показаниями «Печальный детектив», а В. Белов, как выползший на завалинку старичок-лесовичок, твердит каждому встречному: «Все впереди».

Нет, дорогие господа-товарищи! Все позади. И давно. С тех самых пор как, подсюсюкав бездарям, вы утратили силу своего языка, который в свое время воспламенил к вам интерес. Умер язык, умерли и вы! И остался, как скелет ископаемого динозавра, остов неосиленного вами настоящего. Неживотворящего, нежизнеспособного.

Мутным половодьем перестройки вас понесло в политику, для которой вы оказались, как леска без грузила, прямо скажем, легковаты.

И потому ваши речи воспринимались как словоблудие выживших из своего времени провидцев.

А графоман не дремал. Он развел помойное ведро чернил, подкатил к столу рулон бумаги и засучил рукава.

И пошел дурманить, дурачить, увечить.

И получилось, что единственный рынок, который сработал, это книжный. Он утопил русскую словесность в иноземной грязи.

Но скоро русскому пьяному и повалиться будет негде — землю распродадут. Совесть приватизируют. Ум секретизируют.

Недавно мне один человек прислал письмо, в котором спросил: как я отношусь к беспределу, какой захлестнул страну?

Я ему ответил, что с пониманием. То есть, все понимаю, но поделаться ничего не могу. Как, кстати, и наша власть.

Одна учительница мне жаловалась, что на ветхозаветную анкету «Кем быть» почти поголовно девки соизволили стать валютными проститутками, а парни — киллерами.

И дело тут вовсе не в воспитании, а в той, почти вечной традиции тянуться за тем, кто легко и ловко умеет добывать деньги, и если не опередить, то хотя бы идти ноздря в ноздю с тем, что обеспечивает достаток.

Что там вольные женщины — жены превратились, все по той же причине, в проститутки, которые за убогость собственных мужей устанавливают таксу.

Не по рыночным законам живет только смерть. Не то, что ее сопровождает и окружает — там давно все схвачено-пересхвачено, — а сама смерть как таковая, умеющая по законам вечного равенства забирать всех без разбора, бедных и богатых, оракулов и страдальцев, несчастных и счастливых.

Только она одна воплотила в себе черты той недостижимости, которой многие годы бредили люди, так и не вогнав ни одну иллюзию во что-то путное и полезное всем.

Кто-то подсчитал, что одними плакатами, которые пламенели кулаком по всей планете, каждый год можно было дважды опоясать землю по экватору.

А к чему они призывали? В чем убеждали? И чем все это кончилось?

А машина пошлости все работает. И ей, как видно, нет и не будет остановки.

Сейчас она перекинулась на телевизионный экран.

А мы все живем. Толчем в ступе анархические стремления и монархические страдания и хотим, чтобы получилось что-то удобоваримое. И безудержно повторяем, что обновленный во Христе мир оберет тяжеловесное библейское спокойствие.

А тем временем подходит час одиночества и страха. Некоторые считают, что это произойдет на переломе двух веков. Другие утверждают, что третьего тысячелетия для человечества уже не состоится.

Так остановим безудержное время бытия. Вглядимся в самих себя и в тех, кто был рядом и чуть вдали, и постигнем ту истину, которая постоянно ускользала, когда возникала попытка сделать ее соучастницей жизни.

Да поможет нам в этом всяк по-разному испытанная боль.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В городе любовь умирает раньше рождения. Пуповину ей перегрызает почти полное отсутствие деревенской застенчивости, несмелости.

И Прялину всегда казалось, что по-настоящему влюбляться надо там, в так называемой глубинке, а может, и — голубинке, можно запросто, придя в гости, без лукавства превознести хозяина, неловко, поскольку ты горожанин, поцеловать ручку хозяйке. Ладонь шершава и груба и пахнет чем-то отрубинным. Потому как эта женщина только что по взмету приклада прошла граблями, опростоволосила стог, сделала его строго-нахальным, лысоватым, как бригадир Зоська.

В этот свой приезд Георгий, как никогда, испытал чувство какой-то вины. Увидел очередь у магазина, где торгуют водкой. И что-то внутри сжалось до плотности камня. Потому как не мог понять Горбачева, зачем он это затеял.

Знакомые, к которым он приехал, всю свою жизнь имели дело с лозой, и виноград для них был чем-то чарующе-живым, и к вину они тоже относились как к крови Господней.

— Знаешь, — сказал Максим Иванович Пичурин, — как мы с Василисой услышали, что с пьянством собираются бороться посредством запрета, все стало ясно, каков правитель Горбачев.

— Ну вообще-то, — начал было Прялин, — народ ведь спивается...

— А знаешь, это отчего происходит? — спросила Василиса Матвеевна. — Потому как хозяина на земле нету. Возьми нашего Зоську. Да разве ему бригадирствовать? Я бы ему дохлого барана стеречь не доверила!

— Ну а почему другого не поставить? — спросил Прялин Пичурина.

— Потому что подгонка идет не под нашу мерку. Он партийный, потому и человек своего времени. Потому ему и дано право похваляться так до конца и не состоявшимся удалством.

Василиса поставила на стол маленький, чуть надтреснутый чугунок, который Прялин помнит чуть ли не с детства, и вдруг сказала:

— Знаешь, зачем его по сю пору держу?

— Догадываюсь, — ответил Георгий.

— Что он — безотказен. Чего бы в нем не затеял. А почти вся новая посуда то пригарью схватывается, то с одной стороны жжет, а с другой все остается непроваренным.

— Значит, что нужно? — подторопил с ответом Прялин.

— Надежность.

Походил он по своему Буденновску, и уже через час созерцательный порыв иссяк, на глаза стали попадаться те предметы, которые не делают красоты, и душа окунулась в скорбь.

Бутылку все же Василиса припасла, потому, разливая водку, Максим Иванович сказал:

— Не умеем мы уделять внимание реальности. Идеологический диктат не дает.

И рассказал, как он ездил в Сибирь на заготовку соломы. Приехали они на побережье, непуганое пароходными гудками. И вот оттуда — ни сплаву, ни справу — чем доставлять к станции корма? Да опять же машинами. А они жгут как пьют.

— Потом здесь, — сказал Пичурин, — все удивлялись, чего это молоко в совхозе такое дорогое по себестоимости.

И там же, в Буденновске, встретил он свою прежнюю любовь. Постарела. Но обрадовалась молодому.

— Ты? — как бы спросили все те же, с козочьей недоступностью глаза. А вот волосы — чужие, словно на горизонте простежки не дождя, а града. Неживая белесость.

— Сколько лет прошло, вникни! — зачем-то сказал он эту неуклюжую фразу.

Вникание продолжалось долго, потом воспоследовал ответ:

— Вот обуяли выползнями повители, — и указала на травность, которая заткала улицу.

А ему почему-то вспомнилось, как он недавно побывал в одном подмосковном селе, где была остановлена война в пору, когда она чуть было не обернулась победой немцев. И вот там его поразили железные балки вразнотык — ежи войны. Вернее, лежали только одни их охвостья, все остальное исчезло.

— Всю родню перехоронила, — тем временем говорила старая знакомая.

А он не давал возможности увести себя из прошлого, где, казалось, вечер приотворил дверь в ночь и из ее пазухи выпростал месяц. Косорогий. Как стершийся оселок, но все же месяц. Небесный скиталец. Одинокий даже в кучное звёздье.

Она как-то так сторожко себя вела, что в улове всегда оказывались его руки. Поэтому упругости груди он ее не помнил. Знал, что все это наличествовало, но не более того. Ибо на все настырные действия был один испуганный упрет.

Вспомнил, как однажды ее приревновал. К ней приехал двоюродный брат, и она не пришла на свидание. И тогда он кинулся к ней домой. И там было темно как в склепе. Рванулся в боковую, где она спала, — пусто.

Давя во дворе полуудушенные желтки одуванчиков, кинулся к соседской девчонке, ее подружке.

И та протянула ему записку, которую забыла отнести.

Оказывается, они всей семьей уехали на выходные в Ставрополь.

В ту ночь ему приснилось, что он с некими женщинами находится на огороде, копает картошку, где попадаются и редька, и морковь. Бабы куда-то его зовут, а ему так не хочется уходить от такого изобилия. И тогда одна говорит:

— Но ведь уже ночь.

Он смотрит на небо.

— Вот видишь, — говорит вторая, — молозивный закат, значит, ночь стелила утро. И скоро оно взбрыкается на горизонте.

Жора сходит с огорода и вдруг обнаруживает, что в водосточной трубе вытаивается лед, и она тихо сорит развееренной на ветру капелью.

Это был первый сон, который он записал. Записал оттого, что он был настолько красочен и свеж, словно действительно был порожден той молозивной зарей и росным утром.

Тогда же, и тоже впервые, он приревновал неведомо к кому и к чему самого Бунина, видимо, все же за то, что он захватил не только то, что увидел, он тыкнул пальцем, что это увиделось и им, Прялиным, и многими другими, и, лукаво смеясь, отошел в сторону, переживите, мол, такое, как «море вздулось», и увидите его не каким-нибудь, а темно-железным и, наконец, откройте, что оно кажется выше берега.

То ли обида, то ли что-то еще, сходное с ней, клокотало внутри. Жора понимал, что гений — убивал. Не давал паузы на цитирование себя, а сразу же кидал в беспомощность и сиротливость.

Бунин...

Нет, он отомстит! Пусть не сегодня. Но когда-нибудь и непременно. Хотя он и буен, этот Бунин...

И однажды им что-то, как бы в полубреду, написалось. Вернее, сперва только увиделось. Отдельный, как бы вправленный в отдельную раму день. Прибрежье. Оно сумрачно и голо. И пахнет мокрыми валунами и сохнувшими водорослями, а вдали по-крабьи копошатся первые огни. Одинокое дерево дрогнет на ветру.

И опять прежнее озлобление, но, уже труня над ним, Георгий как бы ощущает, что все это не столько записал, сколько отпечатлел в сознании, отксерил, как сейчас прозывают подобное этим ассенизаторским словом. И он видит ее, почти по-человечески задремавшую

рошу. И луг, что засинел знакомыми, но утратившими названия цветами. Потому все говорили о них просто — синюшки.

Опять же в дали, только несколько приближенной воображением, паста мелкорослый скот.

В лощинах туман залегают пластами. Больше, видимо, затем, чтобы оттенить засервее за ним село.

А скученные валуны переблескивают росой и как бы медленно уплывают в отдаленье.

На полугорье — стружкой — летят какие-то полустайные птицы.

Прялин понимает: вот то, что надо немедленно записать, та самая картина, которая может остаться, чтобы восхищать других. Но пальцы и перо никак не сведут себя воедино. И сознание разъедает что-то постороннее, даже второстепенное. Например, зачем-то слышится, как в лифт протискивается что-то громоздкое. И душа неожиданно задремывает. Задремывает тихо, почти бессонно, как струится в окно стрекзатокрылый свет слюдяного зимнего утра.

Кто-то кому-то говорит: «Годам к пяти так уездила, что и на строевого коня не был похож».

И в тот день, собственно, ничего не написалось. Но ощущение того, что это рано или поздно случится, — укрепилось.

У старой знакомой все так же стрелчато сведены колени. И платье поджато, как губа, когда на что-то утрачено понимание окружающих. И только груди вислы, как опрокинутые вниз головой летучие мыши.

— Умеренные политики, — говорит она, — предсказывают...

Он отринывает все это от себя, потому как оно породит, вернее, навлечет на ту обостренность жизни, которая ранит всякую умиротворенность и даже сон. Как грозная трещина электричества, бешено брошенная на спокойное лоно ночи.

Ему опостытели и политические нытики, и их агрессивные противоположности, которые рисуют все, что грядет, в преступно радужных тонах. А на Ставрополье шестую неделю не было дождя, и оттого не только погорела, но и прогоркла степь.

Вот тебе и будущее.

Ближайшее!

Потому пусть она продлится, эта грозная, трещащая бешенством электричества ночь.

Но одно Прялину теперь понятно как божий день, что когда исчерпаны все устные поучения, в дело должна вступать плеть. Подразнились все вокруг. Уже стали образовываться кланы особо приближенных к власти. Их непотопляемость бесит даже генсека. Хотя тот самый «плюрализм», конечно, и является тем самым камнем, который утупит любое оружие.

Георгий смотрел на свою старую знакомую. Полусвет ее тела не влек. Рядом щебетливо текла вода. Не их вода. И недалний лес, что

скоро облечется в золото, однако, не зацветет. И можно долго понуро смотреть, как идет заселение неба. Как, оторвавшись от вершины горы бесформенными рванками, облака потом чопорно округлятся и сделаются лубочными.

Прошел толстяк с добродушно округлившимися щеками. Помахивая на бегу лозиной, проскочил веснушчатый мальчишка.

Жизнь, как налитая всклепн посуду, не скудеет от мелкой утечки. Вот они, эти двое, еще помнящие, как вон на том взлобке стоял ветряк, кажется, в то время поворачивающийся всем навстречу своими добродушно ворочающимися крыльями. А у соседей при подготовке к свадьбе то и дело скрипели двери. С визгом мимо окна, штрихуя пространство, в него вправленное, пронеслись стрижи. И небо, даже нахмуриваясь, мглоло как-то весело, не так безнадежно, как сейчас. На реке — ор и смех. Ребятами то туда, то сюда накреныются борты лодки. Девчата визжат. В разлатой арбе едут трое. Уже пожившие, и один из них, глядя туда, где идут сплошные кочкарники и плесовые залысины, говорит:

— Неосуществимо бывает только благо детства. Его, как следы на песке, смывает окончательно и навсегда.

И — вздох.

Почти что — литный.

И как сейчас не травит душу Прялина социальная боль, все же та, вроде бы легкомысленная, почти эфемерная, ближе и родней, потому как она, как своя рубашка, что ближе к телу, на то и существует, чтобы полнее сказать о прошлом, в котором перемешались и загорелые до черноты сыны Кубани, и лупоносые пасынки Тихого Дона.

Короче говоря, жизнь — это не укладистые дроги, на которые можно погрузить все, что чем-то дорого и свято. В дорогу берется единственное — душа. Но как трудно пронести всю эту хрупкость, когда вокруг углатое хамство и почти кубическая корысть.

А по этому пространству в свое время проживали те же хазары и анты, то есть поляне, и ромеи-христиане, или византийцы, а сейчас благоденствуют «цеховики», по фене — «котлеты», «быки», «мясо». И все это взаимодействует, стекается в одно или, наоборот, вытекает одно из другого.

Где-то возвышается над городом Иерусалимский храм. А тут никнут объединенные скотиной ивы и длинно, как суховейная степь, простирается почти утратившая веру христианская тоска.

— Не могу же я всю жизнь актерствовать? — пылко воскликнул доведенный до отречения поп.

Он знал и желание прорваться в какой-то иной мир. Того же Самдеева, который до сих пор уверен, что Горбачева ведут по жизни лучшие экстрасенсы Запада. И хоть все это кажется безусловной ерундой,

но некоторые предсказания, которые он в свое время обнародовал, сошлись один к одному.

Дал он Прялину почитать кое-какую литературу. Теперь он знает, что сто лет назад был какой-то чудодей, который заставил своим взором ездить по столу графин и биться посуду.

Но это все, как говорится, за пеленою лет и дат, и нет возможности проверить, так все было или чуть иначе. А вот Нелю Кулагину он видел. Она взяла его за запястье, и там образовался ожог. Во всяком случае, красное пятно ободком.

Однако все равно не верится во всю чертовщину. Как и в то, что ей можно противостоять.

Горбачев, считал он, становится все более неуправляемым по простой причине: он уверовал в свое высокое предназначение. Это чисто шизофренический феномен. Он посещает почти каждого, на кого сваливается власть или какая-либо другая слава, и подхалимы, как черви, начинают обглаживать личность до костей, убеждая, что самый лучший елей — это яд.

Проще сказать, политическая неопределенность, заигрывание с Западом, размышлы о здоровой рыночной экономике — эти слизистые наледи на пути, который он избрал, конечно же охладит зазимок, который зовется бездна.

Именно в бездну ухнут все предначертания нынешнего генсека, потому как все его преобразования изначально ложны.

Налетел сыпучий ветерок. Сыпанул в глаза песком. Она стерла бисеринки пота над губой.

— Ну что же, — сказала, — была рада тебя видеть! — И посетовала: — Как быстро бежит время! И главное — куда?

Но это ей известно и всем прочим — тоже.

В доме напротив, вернее во дворе, идет сливанье — то есть качка меда. Вьются пчелы. Кто-то из стариков в его детстве их звал райскими мухами.

Ночью спал плохо. Разворочался на койке так, что она скрипела, словно телега.

У хозяев во дворе вечно тоскующий толстущий боров. Взглядывает вполне миролюбиво, хотя все его боятся. Короче сказать, боятся оттого, что он непонятен, что любую позволиху может пресечь ему только ведомым способом.

Весна, говорят, в этом году была рыхла, но бездождлива. Не смогла даже отсырить спички, что, видимо, с зимы не один месяц пролежали на завалинке. Потому и двор похож на кочковатый луг.

И именно его хозяин сказал Георгию, что лелеявший ее старую знакомую дед умер.

Хозяин уже не пьет. Но палец, как это было много лет назад, сам собой оттопыривался. Это все, что осталось у него от воспоминаний

о пьянстве. Другие по-прежнему пили, а у него — только мизинец оттопыривался.

Он-то ему и рассказал свежий анекдот про Горбачева.

Стоят вот так мужички в очереди за водкой, томятся. А ее то ли не привезли, то ли всю выпили. Наконец один не выдерживает. «Нет! — кричит. — Дальше так жить нельзя!» Ну все к нему: мол, покончить с собой решил? А он: «Много чести! — орет. — Я просто сейчас пойду и этого штурвального убью!» Тут уж его никто удерживать не стал, потому как многие считали, что давно пора это сделать. Ушел тот мужичок и — с концами. А очередь продолжает томиться. И вдруг замечают, что он, откуда-то появившись, молча пристраивается в хвост. Ну к нему, естественно, бросаются с вопросом: «Ну что, убил?» — вопрошают. «Нет! — мрачно отвечает он. — Туда очередь еще больше стоит».

2

Это отторжение Михаил Сергеевич ощутил неожиданно. Однажды вдруг почувствовал, что какой-то произошел душевный подмыв и — короткое — всего на мгновение, но воспарение. Он даже подивился, что такое могло быть. Но следующий миг был продолжительнее. И тогда он задумался.

Стал вспоминать, когда же впервые ощутил подобное. И, конечно, набрел на мысль, что ощущение произошло из детства. Это когда катишься с горы и вдруг — на трамплине — как бы теряешь власть над собой. Раньше это звали захватыванием духа. А теперь он точно знает, что это — отторжение от того, что привычно долго владычило над психикой. Ведь говорят, побывав в космосе, человек долго потом привыкает к мысли, что он на земле, в ином ощущении пространства, да и времени тоже.

Конечно, всякое новое чувство, которое завяжется в душе, не столько он, сколько его Раиса Максимовна подвергла ревизии и тщательному анализу.

Помнится, появилась возможность побывать в Англии во главе парламентской делегации, как она землю стала рыть, чтобы он взял ее с собой. Пришлось идти к Черненко, унижаться, даже чем-то обосновать, что он не может без супруги пресечь границу родного государства.

Не думал, конечно, он, что эта уступка станет трагической в его политической карьере. Надо было сразу же начинать разыгрывать из себя царя со своими бзиками и прихотями, которые немедленно подхватят те самые подхалимы, в руках которых и находится репутация руководителя.

И именно в Англии он пережил ощущение, что такой шаловливец, что его нельзя из дома отпускать одного.

А дома даже анекдот придумали. Будто на него посягала какая-то кинозвезда, да спасибо Раисе Максимовне — отвела беду от страны, которая чуть не потрясла свою партийную нравственность.

Он помнил, как, пофыркивая в воду, независимо держался на плаву катер, на котором они собирались куда-то плыть, а какой-то мат-рос пытался втолковать его любознательной супруге особенности английского технологического творчества. Там же она неуклюже поинтересовалась, не подвергнуты ли жители острова шовинистическим настроениям.

И хотя почести в Лондоне ему были оказаны явно не парламентские, на душе что-то заскребло. Погано, оказывается, не быть первым. Потому обидно было даже то, что жене чуть ли не больше уделили внимания, чем ему.

И не понял он тогда своим еще не достаточно гибким политическим интеллектом, что он в будущем первый и сейчас надо поработать на его прихоти. И особенно на капризы его жены. Побольше шуму в печати, побольше разных рассказней о том, какая она великая. Если так называемый секретарь ЦК умный, то поймет это как подначку. А если...

Они попали в точку. Там вообще редко когда ошибаются в дури, которую мы выкидываем. И так умело ею пользуются, что дух захватывает.

За окном сереет вечер. Где-то далеко, поикивая, идет трамвай. Видимо, снег, с шелестом разносимый по крышам, чуть позванивает.

Как-то отец признался: «Испереживаешься за тебя».

В тот приезд, помнит, к утру ночь так настудилась, что не верилось в процветание несколькими часами тут теплого майского вечера.

Теперь — зима. Стоят запушенные снегом ели. Меж ними пестри, навихренная сюда палая листва.

Вчера по Москве пронеслась настоящая пурга. И через минуту там, где только что ничего не было, уже сгорбливался сугроб.

И как только схлынывало время, опущенное ему на суету, и свет потоплял то, что выходило из-под власти тумана, падающие лучи чем-то напоминали на льду выстил камыша. И думалось, через минуту или две впереди возникнет седловатая гора и интеллигентно-подначный возглас:

— Привет, сидельцы!

Так прозывались в ту пору, о которой он вспомнил, рыбаки подледного промысла.

— А вы, с изволения сказать, — воспоследует ответ, — за каким ляхом сюда приехали?

И ужаснет признанием, что сегодня клева нет.

А рядом с отцом-рыбаком мальчишка во всем казацком. И сабля еще заморская ко всем прочим припоясана.

Там, где летом разлужье, теперь пестро-белая ровнота. А чуть левее, где раньше лиловел пруд, теперь вечеряли обозники. Там пролегла дорога.

— Вроде чуть примякло при солнце, — говорит рыбак, — и снова, вишь, день студится предвечерней стынью.

Да и чувствовалось, что в самом деле морозило. Клейко смешало глаза.

— Ну как там в Москве? — извечный вопрос. — Жизнь хужеет, а пиджак — ужеет?

Второй кому-то рассказ ведет:

— Добришко кое-какое сбыл. Отвез выкуп.

Некогда дослушать, хоть и интересно. Вон как закурчавился куст от инея.

В стемневшем небе родился непонятный гул.

— А вот тут, — говорит первый рыбак, — почему-то растут только неедалые травы. Ни одна скотина их не жрет.

И указал, где именно.

У ног лежит листик, вырванный из книги. Прочитал первую строчку: «Уже в свои семнадцать Николай понял, что смерть — довольно серьезная неприятность. Потому жизнь и предстала скорбной обрядкой перед ним».

Ветер выхватил у него этот листок.

И вдруг обозники запели.

Во соломе то было, во солумушке,
Во ячменной, во ячменной да в ячневой,
Отзвенели да по кушам да соловушки.
Свои игры позакончив буерачные да брачные.

Михаил Сергеевич встряхнулся от воспоминаний, засобирався домой. Завтра новый день, новые печали, новая тоска.

Но это, слава богу, не сегодня. Как говорят на Ставрополье — не нынче. А ныне... нет, не собирается вещей Олег «отмстить неразумными хозарам». Ныне надо еще пересказать все, что за день творилось, Раисе Максимовне, выслушать ее умозаключения и потом отойти ко сну. И проспять без сновидений, потому как мщения, как он давно понял, тоже отнимают силы.

3

Оутс давно понял, что неограниченное доверие до добра не доведет. Потому своему новому посреднику Алекси Соммеру — человеку тяжелому в общении, превращавшему час актуальной информации в бесконечную трепотню, сказал:

— Я не признаю абсолютных правил, но очень хотел бы иметь гарантии общей приемлемости. Чтобы знать, что же в концов от меня нужно.

А тот опять начинал приводить пустопорожние примеры:

— Вот мы берем на два года в долг. Значит..

— Давайте не вдаваться в подробности теории, — перебил его Дэвид, — скажите, как я могу нехитрым способом, не используя жесткие материалы, добиться уготованной им роли?

— Но ведь речь идет о чести народа! — вскричал Соммер.

— Совершенно верно. Потому я и хочу, чтобы открывающаяся перспектива не превращалась в мышеловку для нас. Сейчас надо как можно дальше развести таких противоборцев, как Горбачев и Ельцин. Потому что их час смертельного соперничества еще не наступил.

— Но с меня требуют совсем другого! — вскричал Алекси.

С тех пор как Хог был переведен на другое место, Оутса вдруг перестали вызывать на совещания и инструктаж. Это все передоверили Алекси Соммеру. И разу же стали твориться преинтереснейшие вещи. Проверка собственной безопасности показала, что сейчас он как никогда уязвим. Его однажды чуть не силой затянули на собрание безбожного общества, которое вроде бы благословил сам папа римский Иоанн Павел Второй.

Причем устроители явно намекали, что ему выказывают честь. И когда Оутс рассказал обо всем этом Соммеру, он, смеясь, сказал:

— Не докатывайтесь до ложной значительности. Ибо всем известно, что главный американский миф — супериндивидуализм.

— То есть эгоизм?

Рыжий живчик ушел от ответа.

Проникающий повсюду на правах советника посольства, он лучше, чем ожидалось, был осведомлен в вопросах только еще подлежащих обмену мнениями. И, являясь полной противоположностью Майка Харга, постоянно утверждал, что уважает волю того народа, который раскрылся перед ним, не упрятивая свою негреховную память.

Въедливо выступающий, он любил вспоминать первые соприкосновения русских и американцев — это фестиваль пятьдесят седьмого года, на котором он, тогда еще совсем юнец, якобы был. И смаковал общую для всех деталь, так сказать, жизненные, а потому и неизбежные последствия.

— Вы же тогда утверждали, что у вас не было проституции. А девки вились, особенно возле негров, что называется, как мухи около меда.

С ним никто не спорил. Страшная зависимость всегда унижала, а тем более тогда, когда на такую связь был яростно направлен общественный протест. И никто не хотел уразуметь, что принципы наслаждения должны формироваться индивидуально.

Потому парней нужда заставляла покупать по дорогой цене американские и прочие другие шмотки, а девок, нетускнеющие идеи которых не простирались дальше практического безумства, убивать в себе насмерть патриотические побуждения.

— Тогда я понял, — откровенничал Алекси, — что тут существует демократия с заломленными руками.

Действительно, в ту пору, когда частные и общие интриги, да и интересы тоже вошли в противоречие, родился мгновенно другой подход рациональной политики. Девочек отлавливали, стригли бараными ножницами, сажали в автобусы и вывозили за пределы города.

Эта необычная ситуация, конечно же, имела свой покров слов. И надувание страстей гасилось именно с помощью их. Говорили, что некоторые спецслужбы разлагают на бытовом уровне некоторую часть неустойчивой молодежи, внушая, что человек без страха чувствует себя спокойно. И что иноязычные должны быть сильнее, а потому и добрее.

Но оседлать волну возмущения никому не удалось по той причине, что ее не было. Справедливое негодование с обеих сторон тут же забывалось, натурализация, пресеченная в зародыше, списывалась на пустую суету, и уже никто не занимался учетом единодушных людей.

Правда, на одном из сборищ одна картавая девица говорила, что когда ей предлагают что-либо по-западному двусмысленное, типа вместе поужинать в кафе, она напрочь отказывается, уверенная, что это ей помогает ее балтийский характер и то, что она — ленинградка.

Одинаково печально заканчивались и экономические столкновения фарцовщиков с иностранцами. Уровень профессиональной напряженности нашей разведки был настолько высок, что отлавливались даже те, кто пытался поменяться рубашками или галстуками.

То, что не проблема теперь, тогда было смертным грехом. И гибель морали началась не вчера. Родилось целое поколение, которое можно было назвать полуверцами. Не порвавши со своей культурой, они не успели вжиться в чужую, но страшно старались, потому-то и им было трудно отвыкать друг от друга.

Итожа то, что произошло на фестивале, многие понимали, что подорвала ситуацию умышленная ошибка. Ибо годы взаимных страданий образовали полузамкнутый круг, в котором жесткие условия считались нормой и абсолютно не были приемлемы общие правила игры. А риторические подходы учиться быть человеком не уходили дальше абстрактных разговоров.

Самостоятельный же и равноправный голос тут же получал политическое наслоение, и страна, охваченная депрессией духа, пыталась как можно скорее избавиться от этих разложившихся.

Так создавались кумиры толпы. Тот же Солженицын, не поиграй он в урезонной форме с властями, сроду никем не был бы не только

отмечен, но и замечен. Но стоило ему сделать намек на саможертвенность, как узколобый разрушительный национализм поднялся на дыбы. И немецкие демоны, и американские христолюбцы, и еврейские приверженцы принципов осторожной позиции, — все кинулись в его защиту. А от кого его, собственно, было защищать? Ведь он, как обед из двух примитивных блюд, состоял из довольно чахленького таланта и едва просоленных убеждений. Что он открыл миру? Ужасы ГУЛАГа? Так они все пересказаны в третьем лице, ибо еще не обрели голоса те настоящие узники, которые, кстати, не будут проповедовать свою царственную непогрешимость.

Без осуждения сказать, заупокойные публикации, которые достигали наших читателей, тоже были с запахом катастрофы желудка. И всякий, кто загадочно погиб, немедленно причислялся к «лику святых».

Вот чем страшен закрытый характер явления.

Потому моральное положение страны было такое, что практика опередила теорию. Уже в пятьдесят седьмом всякий здравомыслящий имел четкое представление, что отсутствие угроз — расслабляет. А то и вовсе приводит к противоположным ожиданиям.

Хотя и долговременная опасность тоже притупляет ее восприятие как неотвратимой данности.

Попутно надо заметить, реально действующая власть не вписывалась в общую тоску по свободе, она пыталась бороться только за серьезность дела, не понимая, что в этом вопросе на первом этапе нужно себя хорошо проявить.

Ну а дешевое решение вопроса, да еще трактовка его в жестких выражениях, разве это не то, что рождает пошлые отзвучики, которые включают рубильник узкого национализма? И церковный постулат: «Лечение — это продолжение творения Бога над человеком», воспринимался как признание религией победы атеизма.

Нельзя одному сидеть в разных углах дома и думать, что дом полностью заселен.

Вот так было занято никем не оприходованное пространство. Ибо превращение враждебности подразумевало крах всего, что породило этот порочный стиль отношений.

Нужно смело брать риск на душу. И совместимость личных принципов помножить на изначальную порядочность, чтобы в итоге получить более естественные связи с миром, который пусть и не вопиет, что сиротливо сир без отдельного внимания к нему, не станет символом беззакония и насильственных действий.

Потому пятьдесят седьмой — это был год самого горького разочарования тупарей и обретения неиссякаемого юмора русских, тут же сочинивших изящный анекдот. На вопрос, что останется самым памятным для Москвы, ответ был таков: «Дети разных народов».

Вот во всем этом при случае и без одного копошился Алекси Соммер, твердо зная, как мучительно признавать тем, кто творит глупость, что они — тупари.

Иллюзия борьбы за социальное возрождение редко начинается с прекращения враждебности. Ибо близкие позиции зачастую оказываются и безликими. И очень трудно найти общую опору преткновения.

Россия сейчас поставила себя в позу пришедшей в охоту кобылы. И каждый, кто имеет в себе потенцию, пробует поношать ее ради спортивного интереса. А тот, кто на это не решится, может прослыть мелким завистником, и не больше.

Но у русских и на эту тему родился анекдот. На вопрос: можно ли уестествить женщину на тротуаре, ответ таков: «Нет, и еще раз нет, ибо прохожие советами замучают».

Мнимость живуча, но равным образом существует неразличимость между авторским сознанием и гласом толпы.

Как-то Алекси поймел летучую любовь с престарелой в его понятии горничной, как она сказала, приехавшей из деревни. И вот — при расставании — швырнув ему в лицо его доллары, она сказала: «Дурью ты моей позабавился. Любопытью окаянной. И тебе теперь хорошо: ты и охоту справил, и меня ославил, и еще семя сронил, и — ни спереди, ни сзади. А я теперь заглядывай...»

Это он страсть как любит рассказывать. «Интересно, — вопрошает, — она все еще заглядывает?»

И — лошадино хохочет.

Все это очень не нравится Оутсу. И не потому, что он святой перед тем, что плохо, а может, наоборот, хорошо лежит. Но он не мог все это смаковать. Тем более рассказывать посторонним. Чтобы не вызывать эстетического отвращения.

Соммер же, в общих чертах зная миссию Оутса, серьезно ее совершенно не воспринимал.

— Русские и так бесподобно глупы, чтобы их еще заряжать нашей дурью, — сам себе говорил он.

И поскольку доля осторожности в некоторых словах у него была, он на людях не говорил того, что глубинно думает, ибо считал, что Россия — это дом с привидениями.

И, если честно, именно поэтому Оутсу с ним больше чем неудобно.

4

И все же в Штаты Оутс был вызван. Причем, чему очень обрадовался, без Алекси Соммера. Вместо него его сопровождали два явных и неведомо сколько тайных агентов. Явными были писатель Дитлер Грин, известный под личиной писателя Саввы Морского, и Джачито

Панетти — итальянского происхождения голливудский актер, кажется, играющий преуспевающих бизнесменов.

О том, что у Дитлера было сомнительное прошлое, Оутс не сомневался. А что из себя представлял актер, понятия не имел.

Грин, как всегда, много болтал.

Вот и сейчас его надирало рассказать, как он ездил в Волгоград и там ел осетровую икру ложками.

— Не поверите! — кричал он. — Поставили перед нами чуть ли не корыто и говорят: «Гуд бай, ребята!»

Потом он рассказал, как художественный директор фирмы, которая производит икру, устроил концерт.

— Что там было! — восклицал он. — И главное, творческое общение никем не контролировалось. Правда, полицейские их были. Но они разинув рот смотрели на меня. Видимо, первый раз видели живого писателя.

Оутс, почти не слушая, смотрел на верхнюю кромку облаков, напоминающую арктическую пустыню, слушал, как чуть подбивался на какой-то заичке один из двигателей, и размышлял о том, зачем это он вдруг внезапно вызван в Вашингтон.

Хотя, если честно, ему неведомо, куда ему, собственно, ехать. Билет был до Нью-Йорка. А там...

Почему-то исчезновение Хога он все же связывал с какими-то своими неудачами. Серьезным минусом в его работе было, конечно, похищение дочери Валерия Самдеева. Может, Майя, действительно сложенная наркотиками, и мешает отцу входить в контакт с Горбачевым, чтобы создать нейтральное поле, в которое и полагается вторгнуться Оутсу? Но, скорее всего, она никакая не ясновидящая, а просто по молодости лет об этом растрепалась, и отец поддержал причуду дочери. И теперь ее зря мучат, выпытывая того, что она не может сделать или совершить.

И еще, в чем он не хочет признаться даже самому себе, ему почему-то кажется, что политика власти в России меняется по совершенно от него не зависящим причинам. Потому как большинство людей, с которыми ему приходилось встречаться, думает нормально. И политическая испорченность почти никого не тронула. И та некровавая война, как ее тут зовут, «холодная», в силу особенности человеческой психики не воспринимается сколько-то серьезно.

Замкнутые на себя те же писатели или ученые отлично знали, что прижим есть прижим, что психология жертвы — любым путем освобождаться от пут. Но моральный принцип был иным. И потому не приносил пользу истории.

Подоплека поступков, как отлично знал Дэвид, кроется в человеческой сущности, а не в том, что та или другая личность пытается исповедовать или зрить.

Цивилизованный способ, конечно, требует не поддаваться разрушению социальных явлений, которые уже были достижимы.

Но как хочется понести нравственные утраты, чтобы потом прослыть в народе великомучеником.

Поскольку всякое раздумывание обязывает прийти к какому-либо выводу, не допуская внутреннего расслабления и урывчатых действий, потому психологическую проблему надо решать, заняв в обществе надлежащее место и получая за свои деяния честные деньги.

Многострадания последних десятилетий навели многих на мысль, что мужские игры хороши только тогда, когда есть раненные самолюбием прекрасные зрительницы. Народу демонстрировать свои мускулы по меньшей мере пошло.

В Нью-Йорке почти не задерживались. Этот угластый город не нравился Дэвиду. Слишком много в нем было рекламной чопорности и топорного лоска.

Почему-то всякий раз, видя статую Свободы, Оутс вспоминает русскую поговорку «умом не раскинешь, пальцами не растычешь». Ведь вот вроде и великая держава Америка, но на карте похожа на лоскутное одеяло. Так — и тоже угласто — поделили ее штаты. Да и сама-то она разрослась на две трети всего только в прошлом веке. Сперва у Франции купили Луизиану, потом приобрели у Великобритании Орегонский край. Флорида тоже куплена у Испании. И только Техас присоединен насильственно да Калифорния с Невадой завоеваны у Мексики.

Всякий раз, когда Оутс оказывался в Штатах, он неожиданно ощущал, что теряет свое нареченное разведкой имя и становился тем самым обыкновенным психиатром Жан-Марком Бейли, которому не было дела ни до политики, ни во всего того, что с нею связано. Денег ему хватало, славы было в избытке. Что вдруг защекотало самолюбие, когда предложили совершить, как все говорили, «комбинацию века».

Он знал наперечет тех психиатров, которые могли бы выполнить то, что предложили ему, может быть, даже лучше. Но в ЦРУ, как говорится в России, глаз положили именно на него. И это, видимо, польстило.

Правда, потом он все больше и больше ощущал, что попал не в сферу профессиональной работы, а обреченности научного любительства. Когда нельзя было просчитать, что произойдет или случится в следующую минуту.

Кто-то из свежих эмигрантов сказал: «Когда страна перестанет тревожиться за одного из нас, она потеряет всех».

Именно потерянную чувствовал и он. Нет, в ЦРУ все было отлажено с четкостью безупречного механизма. Его — стерегли, по-русски сказать, ко всему этому и «пасли», то есть за ним же — за разведчиком — шпионили. Переглядывая газеты и находя в них те публикации, через которые проникали зашифрованные задания, он не переставал

удивляться изощренности конспираторов. И все же была какая-то незащищенность и голость. Не было в почете обыкновенное устройство жизни, воспитываемое не государством, а личностью, которое за тебя радеет. И как бы за всем стоял безмолвный упрек: «Вот мы тебя кормим и содержим, а ты...»

Он не хотел простирает своих знаний, а тем более влияния дальше положенных ему пределов. Потому что знал: рано или поздно наступит тот самый кризис доверия, который пережили все гиганты прошлого, когда без клочка доказательств тот, кто считался самым-самым, вдруг выпадал в осадок истории. В гнусный ее осадок.

Потому форма поведения, выработанная им, не была отягощена ситуациями, возникшими вдруг. Ибо он наперед знал, какой фактор когда и как улегал в общее, ему уготованное положение.

Цэрэушники, как им было замечено, на ученых смотрят с некоторым пренебрежением. Они им кажутся людьми без прошлого. У них нет национальной заносчивости, а значит, и того кондового патриотизма, который, как они считают, и создал нацию.

И главное, в сущности им нечего скрывать из того, что у них было и что привело к деформации личности настолько, что она теряла всякий, а не только человеческий облик.

«Думайте одной извилиной, — наставлял своих подчиненных Бернар Уильямс, — и знайте, что испорченность собственной натуры — ваше главное достоинство».

Где-то, читал Оутс, выходит газета с названием «После суда». Наверно, она пишет о заключенных. Что-то подобное надо издавать и в ЦРУ. Для тех, кто пережил жизненный кризис, проклял несовершенство системы, продрался сквозь сито наблюдательной комиссии, следящей за его психикой, и как провинившийся перед обществом и дальше пошел пребывать в изматывающей душу гражданской апатии.

И это все ждет-поджидает его. Пока он блюдет чьи-то интересы, худо-бедно держит подконтрольность над тем всем, что ему поручили, выполняет свой моральный долг и, главное, имеет шанс на успех, до тех пор за ним соблюдается тот социальный статус, который послужит основой однажды оставить его в покое.

А пока надо больше и больше совершенствовать формы удовлетворения противоречий, вгрызаться в анализ событий, гасить в себе приверженность к идеалам и помочь поставить на колени у паперти кормящую весь мир Россию.

Тем временем из Нью-Йорка, где они чинно отобедали в компании журналистов, которым обычно заказывают политику, они снова зарулили в аэропорт.

И опять никто не сказал, куда на этот раз несут их черти. Да Оутс уже отвык любопытничать. Он устроился у окна с газетой в руках и там неожиданно натолкнулся на сообщение, что некий праздный